

НАШ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

Моноспектакль «Ваш доброжелатель», Козьма Прутков, премьера которого состоялась в воскресенье, 26 ноября, сочинен и сыгран Анатолием Адоскиным. Козьма — явление сверхуникальное. Подумать только, никогда не существовавший во плоти, он и поныне воспринимается с абсолютной безусловностью, вплоть до того, что созданные для смеху афоризмы его презервно цитируются как шедевры Паскаля и Ларошфуко.

НА ТЕХ — как я знаю, на многих, — кого Анатолий Адоскин обратил своими телевизионными композициями в верных и терпеливых поклонников (терпение тут весьма нужно, ибо «автор и исполнитель» предпочитает плодотворности долгий срок вынашивания плода), его новая работа, возможно, произведет легкий шок. Козьма Прутков, гороховый шут всея Руси, — это у Адоскина-то, на чьем авторско-исполнительском счету фигуры мало того, что не фантазмные, а исторически реальные, но какой породы!

Кюхельбекер... Дельвинг... Жуковский... Баратынский... Александр Одоевский... Денис Давыдов...

Лирика, героика, элегичность, внутренняя свобода, драматизм судеб — все, что угодно, только не шутство, не издевка, не балаган. Что ж приключилось? Наскучил, что ли, артисту его привычный для нас образ — вдмчивого, сопереживающего, сострадающего интеллигента, изшаривающего во тьме времен родственные души? Захотелось с чего-то назвать карнавальную личность?

Неожиданностей в самом деле немало, начиная с манеры исполнения. Прежде Адоскин бывал деликатно сдержан — до самоограничения, лишь порою контрастно приоткрывая иные свои возможности, и тогда, к примеру, телеэкран заполнял, выпирая из него, огромный Фаддей Булгарин (да, вопреки целеустремленно уничтожительной легенде тот был не мелок телом, как духом, но топорно громоздок): шумный, косноязычный, словно брызжащийся в нас сквозь стекло экрана натуральной слюной. Или лицейский «паяс» Миша Яковлев щедро являл острую ключоную пластику. Но то и был намеренно броский контраст, а царяла помпезная сдержанность, и даже изображая лихого партизана Дениса Васильевича Давыдова, Адоскин как бы брезгливо сторонился эффектов, разгула, размаха, — отчего, между прочим, и выходил у него не лубочный стереотип гусара, бесперечь сочиняющего и распевающего романсы (ноих Давыдов почти что и не писал, вопреки еще одной вульгарной легенде). Выходило то, что не дается взгляду спроста: — «Душа в заветной лире».

Здесь, в телеспектакле, дело иное. И если в первые минуты мне показалось (думаю, небеспричинно), что артист несколько скован, как оно и должно, вероятно, быть перед неопробованной стихией, куда ты собрался нырнуть с головой, но невольно заманиваешься у обрыва, то уж после вовсе идут в ход как раз разгул и размах раскрепостившейся пластики. (Что, кстати, в этой адоскинской работе и дало особенную возможность развернуться и режиссеру, и оператору, и художнику, и композитору; с большой охотой и высокой похвалой перечисляю их: З. Алиева, Ю. Степанов, Ф. Петровский, А. Чевский). Взвешиваясь на чужую плечу, все же персонаж прутковского водевиля «Фантазия», Адоскин поет, танцует, пугает, приплясывает, а читая, верней, играя «Сон Попова», гениальное сочинение одного из создателей Козьмы, графа Алексея Константиновича Толстого, и вовсе, будто махнув рукой на прежние строгие принципы, позволяет себе то, от чего, без сомнения, удержался бы в прежних работах. Не гнушается расхожим телеэффектом, являясь на экране сразу в трех, нет, в четырех лицах. И пока один Адоскин сокрушается: «Как люди в страхе гадки!», второй, то бишь сам Попов, ничуть тому не внемля, пребывает в экстазе донос, вдохновенно машет руками, радуясь имени новой жертвы, пришедшей на ум, — как поэт радуется явлению редкой рифмы. Смешно. Мерзко. Узнаваемо.

А с другой стороны, так ли все неожиданно? Ведь Адоскин и всегда был склонен к актерской эксцентрике; другое дело, что кинематограф пользовался этой драгоценной способностью весьма поверхностно, театр же и вовсе предпочитал вяло эксплуатировать его несомненную интеллигентность (тоже дефицит). А главное... Но тут задержимся.

КТО КАК, а я особенно дорожу серией телекомпозиций Адоскина потому, что в них душевно постигнуты поэты, так сказать, второго ряда, — что, впрочем, может вызвать чрезвычайную гордость: Жуковский, Давыдов, не говоря о гиганте Баратынском, если даже они сравнительно с Пушкиным, с «солнцем русской поэзии», суть всего лишь его спутники, «звезды пушкинского созвездия», как, стало быть, мы безмерно богаты! Но гордость всегда опасна, сознание неисчерпаемости богатств ведет к мотовству, и, сдается, сам наш иступ-



ленный культ «солнца» — отчасти проявление недостаточности общей нашей культуры.

Я сейчас даже не о том говорю, что пушкинский бум вовсе не означает глубины понимания; не о том, что массовое любопытство к его имени сводится к перипетиям вокруг Наталии Николаевны, а знание поэзии — к Лукоморью с ученым котом и к романсу «Я помню чудное мгновенье». Нет. Сама сосредоточенность, пусть даже и не всегда поверхностная, на одном имени, хотя бы и исключительном, она... Но — стоп. В том-то и дело, что — «исключительном».

Культура — это память, в которой не должно быть склеротических провалов, а тут к тому ж сама необъятность Пушкина, которую, в точном согласии с Прутковым, невозможно объять и постичь, внушает ощущение неземного чуда, снисшедшего на нас единственно волей Божией. Его несравненная внутренняя свобода создает иллюзию... Да вот именно несравненности, то есть невозможности с чем-то ее сравнить. А возможность была и есть, что почувствовано Адоскиным.

Сказал бы, пожалуй, что телевизионная деятельность Адоскина на протяжении лет последовательно и упорно давала уроки свободы, и ежели все-таки не скажу, так лишь потому, что сомневаюсь, будто такие уроки вообще можно давать. Вернее, воспринимать их. Ведь путь к освоению, что б его ни проделывал, особь, поколение или народ, всегда сугубо уникален, следовательно, неповторим. Но (не идя дальше самой робкой догадки), быть может, ощущение этого бессилия и подвигнуло Адоскина на то, чтоб попробовать дать урок от противного. От смехотворного. Урок, все же рассчитывающий оказать усвоенным.

Что ж до неповторимости и тут линия не оборвалась. Козьма Прутков не то что не уступит прежним героям Адоскина, но кому угодно даст фору. Ибо если тот же Денис Давыдов уникален в своеволии («сам творец своего поведения», сказал о нем Грибоедов), то Козьма —

явление сверхуникальное. Та свобода, с какой он был произведен на свет, неповторимейшая из самых, увы, неповторимых.

Словно переключаясь с самим собою, с прежним, Адоскин не преминет и впрямую ввести в текст декларацию этой свободы: то «Колокольчики» Алексея Толстого с их тоской, заново расслышанной в донельзя запетом романсе, то его же мучительно-вызывающее прошение об отставке из осточертевшей службы, однако если это и нужно, то разве для драматургии, но не для смысла. Та озорная раскованность, с какой авторы Пруткова, братья Жемчужниковы и их кумовей Толстой, вторглись с «Фантазией» в чинные будни императорского театра, рождалась в буквальном смысле на улице (даром, что не в нынешнем плебейском смысле). Те опасные шалости братьев, о которых весело рассказывает артист и которые задевали, ни много ни мало, виднейших людей государства, не носили и тени сознательного протестанства — это «всего-навсего» лезла наружу молодая веселость, дворянская свобода естественного самовыявления, не политическая, а просто свобода, та, что сегодня нам наиболее недоступна. Отчего я и поставил выше грустно-иронические кавычки.

КТО Ж ОН, Козьма Великолепный, явившийся на свет будто нечаянно? Сатирическая фигура, созданная обличения ради? Но коли так, куда денем позднее признание Алексея Жемчужникова: «А что Прутков многим симпатичен (да, да, и Адоскину тоже. — Ст. Р.), — это потому, что он добродушен и честен. Несмотря на всю свою неразвитость, если бы он дожил до настоящего времени, он не увлекся бы примерами хищничества и усомнился бы в нравственности приемов Каткова». Но это, быть может, и есть самое печальное. Для нас.

Итак, кто он? Бюрократ? Графоман, беспечно относящийся к тому, на чем сгорают истинные поэты? («Когда в толпе ты встретишь человека, который наг... Вариант: «На моем фрак», — это, козмапрутковское, знаменитое, и есть добродушный образчик протитирования слова: хошь так, хошь этак»). Просто самодовольный глупец? Да, и то, и другое, и третье, и десятое, и сто пятидесятое... ловите, если ловятся, сатирические стрелы, радуйтесь или пугайтесь аллюзий, это ваше (наше) дело. Дело художников, от создателей Пруткова до воплотившего его на экране артиста, не наметать, а постигать.

То есть от аллюзий-то куда не деться. «В обществе заговорили о каких-то новых потребностях, о каких-то новых вопросах... Я — враг всех так называемых вопросов! Я негодовал в душе — и готовился!.. Так прошло более трех лет. Время показало мне, что я боялся напрасно. Общество наше оклеветано: оно изменилось только по наружности... Я посмотрел в корень... Там все по-прежнему...». Ломать ли голову, в каком органе печати из нынешних мы можем прочесть нечто неотличимое? А как вкуче с подобным словно бы сами собою переадресовываются строчки о рыцаре Гринвальдусе, каковой «все в той же позиции на камне сидит»?

Конечно, не сами собою. Артист с режиссером не предостоят соблазна и, например, изображая похороны Козьмы Петровича, украсят ее знакомую пощлость венком «от Союза писателей». А речь китайского сатрапа

Цу Кин Цына будет прочитана с неизбежным по нынешним временам канвазским акцентом — и т. д. и т. п. Словом, подтверждены слова Пруткова, поданные им через медиума из загробного мира, что он, мол, хоть и мертвец, а все играет роль в судьбах родного края. (И тут, выходит, вольный или невольный, однако неизбежный кизок в сторону нас с вами, ошалело верящих в чудо, будь то Чумак с Кашпировским, готусторонние духи или НЛО, который вот-вот возьмет да и доставит нам из космоса вволю стирального порошка). Что ж, не возражайте: играет-таки, и все же вовсе не потому, что «автор и исполнитель» его к тому понукает. Больше того. Отчасти и не потому, что веселые авторы Пруткова были уж такими провидцами. За них поработала история.

Когда родители Пруткова сочиняли за него «Проект: о введении единомыслия в России», они хоть и не точили ласы, но, во всяком случае, искренне полагали, что фантазируют безудержно, через край. И как было не полагать? «...Почему иные люди, даже вполне благонамеренные, сбиваются иногда злонравными толкованиями... Потому, что им не было известно: какое мнение угодно высшему начальству?.. На основании всего выше изложенного целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководящие взгляды на каждый предмет... Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам». Смейся? Или присусываем язык? А вот и еще: «Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, позволяя себе только их повторение и развитие». Имеем ли мы даже сегодня право сказать: изжили этот абсурд?

И Жемчужниковы с Толстым, и сам Прутков не были провидцами: они просто смеялись над тем, что отрицал их здравый смысл. Существом, у которого оказалось непредвиденно большое и совершенно реальное будущее. «Не будучи поэтом, он пишет стихи», — трактовал собственное создание Алексей Жемчужников, и разве мы, нынешние, не можем присовокупить нечто, что и его поразило бы? Мол, не только пишет, но, бывает, числится среди первых поэтов, получает награды, занимает посты... Но дальше: «Без образования и без понимания положения России он пишет «прожекты»... Он воспитанник той эпохи, когда всякий, без малейшей подготовки, брал на себя всевозможные обязанности, если Начальство на него их налагало». Ну, а это уж в самую болевую точку — в стране, которая, к счастью, состоит не из одних неумех, но где, по несчастью, быть неумехой, непрофессионалом не стыдно. Даже удобно. Так кто ж, повторю, сотворил этот абсурд? Жемчужниковы? Толстой? Или мы с вами, сполна заслужившие то, что узнаем себя и там, где нас вовсе не собирались изобразить?

Да, Прутков не провидец, но предвестник абсурда, и чем меньше он осознан прекрасной, умной работой Адоскина как злонравный сатирический персонаж (вспомним сказанное о нем: «добродушен и честен», да и сам он рекомендовался читателю как «твой доброжелатель» — метким, во времена, когда так еще не подписывали анонимных доносов), чем более он живой, объемный, смешной, тем грустней на душе. Потому что бед наших не избудешь, всего только устранив злокозненных лиц, сколько бы их не было. И тем больше оснований для раздумья — на сей раз не об удивительных судьбах Кюхельбекера или Баратынского, а о том, чем и как живем. О себе самих.

Ст. РАССАДИН.

● Н. Кузьмин. «Козьма Прутков. «Плоды раздумья». Иллюстрация. 1962.